

Суховой А. Н.

канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории искусств, харьковская государственная академия дизайна и искусств

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИСКУРС В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА

**Аннотация.** Рассматриваются интерпретации философии Платона как явления историко-литературного ряда в контексте деконструктивистской практики.

**Ключевые слова:** литературность, идея, Сократ, образ, интерпретация.

**Анотація.** Суховей А. Н. Літературний дискурс у філософії Платона. Розглядаються інтерпретації філософії Платона як явища історико-літературного ряду в контексті деконструктивістської практики.

**Ключові слова:** літературність, ідея, Сократ, образ, інтерпретація.

**Annotation.** Sukhovey A.N. *Literary discourse in philosophy of Plato.* Plato's philosophy interpretations as a historical-literal phenomenon in the deconstruction practice are regarded.

**Key words:** literatureness, idea, Socrat, image, interpretation.

**Постановка проблемы.** Попытки представить философское наследие не как архив готовых результатов мысли, доктрин и систем, но как процесс того живого философствования, которое имманентно связано с литературностью, или, по более распространенному и принятому в научной среде названию, с историко-литературным рядом, предпринимались давно. Достаточно вспомнить «Жизненную драму Платона», написанную Владимиром Соловьевым, в которой ему удалось, причем чрезвычайно убедительно, показать не просто интересную и беспокойную внутреннюю жизнь древнегреческого философа (прежде всего благодаря Сократу и его смерти), но и почти полную от нее зависимость всего его учения. Представляется, что именно эта работа вдохновила молодого еще тогда А. Лосева на относительно небольшую, но полную чаяний, яркую и насыщенную чуть ли не эсхатологической энергией статью «Эрос у Платона». Однако это были лишь предварительные подступы к настоящей проблеме.

**Цель статьи** — проанализировать существующие интерпретации философии Платона как явления историко-литературного ряда в контексте деконструктивистской практики.

**Результаты исследования, анализ последних исследований.** Любая, даже наиболее согласующаяся с реальными фактами беллетризованная биография писателя, ученого и философа только беллетризованной биографией и останется. Эту трудность Лосев хорошо понимал, поэтому и заявлял о своих попытках найти верные подступы к тому, что можно назвать литературностью философских текстов: «Большинство исследователей рассматривают учение Платона об идеях само по себе, в его чисто логической природе, а платоновскую стилистику — тоже саму по себе, вне всякого отношения к учению об идеях. Это нельзя считать особенно большим достижением науки. Дифференциация работы тут ведет к большому ущербу исследования и понимания Платона. Стилистику Платона необходимо понять и как типическую черту его философствования, как *стиль его учения об идеях*. Это — огромный вопрос, разрешать который сколь-нибудь методически я сейчас не берусь» [6].

Тот идеал мудреца, который воплощал для европейцев Платон (достаточно вспомнить величавые панегерики Гете) был, как нам кажется, неизбежным зеркальным отражением винкельмановского восприятия античности, определяемой как «благородная простота и спокойное величие», олицетворявшим «прекраснодушие» веймарского старца, чей торжественно-пластический образ сам переселился к потомкам, причем некоторые из них (Керкегор, Ортега-и-Гассет, Бродский, Набоков) в своей критике, направленной на подобное самодовольное мировидение, оказались не очень благодарными. О невероятной сложности «показа» мудреца прекрасно знал Кант, предупреждавший об этом в начале «Критики чистого разума» [4], а третируемое Спинозой и Гегелем понимание «идеи» как видимого образа (т.е. не способного произвести различие, например, истинного и ложного) наталкивается на бес- или несистемность платоновской философии (Шлейермахер и его сторонники считали иначе), неотделимой от литературности.

Надійшла до редакції 13.05.2011

Попав на суд филологам в XIX веке (например К. Германну), рассматривавших деятельность Платона как целостность живого развивающегося организма, очевидная литературность платоновских диалогов была (что, в общем, лингвистически оправдано, где любой жанр является жанром среди других, ничем не хуже, но и не лучше их) признана лишь «традиционной оболочкой платоновской мысли», а сама диалектика — «лишь одной из трех частей его философии» [7, с. 85]. Кажущееся парадоксальным обидное невнимание как «систематического» (располагающего части платоновских текстов внутри преднамеренно размеченной целостности единой системы), так и «генетического» (настаивающего на спиралерасширяющемся росте учения) истолкования наследия древнегреческого мыслителя глубоко символично.

Спиноза, «выделывающий ногами кренделя» (чеховская «Свадьба») или булгаковский Пушкин, выкручивающий в подъезде лампочки, есть факт комически же изображенной расправы (в духе плохо усвоенного Аристофана) слегка образованной черни над выдающимися представителями человеческого рода, один из которых, Сократ, скупо и вкупе с другими мыслителями обрисованный Диогеном Лаэртским и Ксенофонтом, получает полнокровное, или, точнее, учитывая статуарную пластичность древнегреческой классики, целокупное бытие благодаря философской прозе своего ученика Платона, чья не только идея-конструктивная, но и, полная ремарок, реальная писательская деятельность подарила миру не только юнгианский архетип мудреца наподобие Лао-цзы, но и оставила спасительную для самой справедливости (причину гибели Сократа) апологию. Весь платоновский животрепещущий («Федр», «Пир») или музыкальною мерою измеренный («Тимей») космос словно хранит еще эхо сократовских слов: «Не шумите, афиняне...» — каждый, кто читал это хоть один раз, запомнит прочитанное на всю жизнь. «Разоблачать» или «снижать» образ Сократа, развенчивать присутствие ему черты редкого духовного благородства, лишать его места среди нравственных ориентиров человечества — дело не только несправедливое, но и тщетное: Сократ останется тем, что он есть» [1, с. 62]. «Ученое незнание» языческого праведника, принесшее ему дельфийским оракулом славу мудрейшего во всей Элладе, уступает место символически репрезентируемой Идее Блага в «Законах» и «Государстве», что приводит к искажению первоначального образа ищущего аретэ (знание, личное мужество, добродетель вообще) беспокойного, пытливого и ироничного Сократа (недаром его сравнивали с оводом) и, как следствие, едва ли не тоталитарному монологизму «диайресиса» (расчленению понятий). Которое, как мастерски показал в работе «Платон и симулякр» Делез, соответствует не столько аристотелевской задаче классификации всего сущего, сколько желанию «протащить» под видом диалектики противоположностей или противоречия «диалектику соперничества (amphisbthesis), диалектику соперников и истцов» [3, с. 226].

Миф, по мнению Борхеса, которым начинается литература и которым она заканчивается, играет для внимательного читателя важную роль, в раздражении скорее всего умышленно незамечаемую ищущими

у Платона строгой научности, равнодушной как к «парадегме» облика Сократа, так и к неожиданным (обнаруженными знатоками греческого) играм словарных значений и перипетиям интриги, постоянно, и в самых, казалось бы, неподходящих местах, тормозящейся то «охотничьей» метафорой азартного в своих изобличениях Сократа, то «отлавливанием» софиста в одноименном диалоге.

Раздельное (философией и филологией) толкование Платона не всегда было доминирующим. Гетерогенность Платона объяснялась (например немецким ученым Э.Целлером) воспитательными задачами его философии, что и приводило к обращению к излюбленной греками четко очерченной форме мифического (древнего) сказания. Его земляки-коллеги Виламовиц, Гайзер, Штенцель и др., судя по цитированным С.Аверинцевым высказываниям, провели большую работу по изучению платоновских метафор, его образной лексике, риторических приемов (особо применительно к «Апологии») [1]. Это, на наш взгляд, является не просто тем педантизмом, о возможности которого в статье «Философия и литература» предупреждал (относительно изучения соотношения сложноподчиненных и сложносочиненных предложений в каком-либо тексте) Гадамер [2], но стремлением отыскать подлинного Платона во всей его жизне-мысле-деятельности.

Барочно-музыкальное представление о тоне (аккорде), «задающем» музыку, можно сравнить с приданием особого статуса простой бессознательной оговорке в трактовке Фрейда, благодаря которой особым образом от нее ложится огромная тень подспудных намерений индивида, чью роль (оговорок) играют у Платона вышеперечисленные литературные составляющие его текстов. Кроме того, Платон («прямота» речи которого находится под вопросом), как никто другой (может быть, и просто по причине, этого нельзя полностью отрицать, «уцелевшести» его произведений), является бесценным свидетельством становления собственно философской терминологии. «Наука умирать», становление к Единому (Благу) совпадает с одновременным развертыванием вовне свитков, запечатлевших рождение того философского слова, которое «чуть ли не на глазах у читателя выхватывается для терминологического употребления из родной стихии быта и еще трепещет, как только что выловленная рыба» [1, с. 47].

Вышеперечисленные истолкователи Платона (учитывая их в большинстве своем немецкое происхождение) могут рассматриваться как сторонники или противники ясперовской (весьма напоминающей бахтинскую) интерпретации платоновской философии как незамкнутой, апоретической по самому своему существу. Принадлежащие к первой категории (например, Х.Беццель) соответственно весьма активно используют собственно платоновские свидетельства, прежде всего такие как «Федр» и VII письмо, подлинность которого до сих пор вызывает у многих сомнения. В высказываниях Платона о речи как о забаве, ребячестве (παλδια) Беццель усматривает учение, в котором речи приписаны три существенных признака: незавершенность («Федр», 278 С-Е), нескованность (276 С-Д), открытость для духовной жизни (276 Е).

Устремленность к общению, диалогичность, неизбежно предполагает апорию как незавершенность начатого разговора. И для нее важен прежде всего не фактический результат дела, а настроение общающихся лиц. Беццель отмечает "конститутивные" элементы диалогичности, т.е. стилистические приемы, при помощи которых устанавливается контакт собеседников и создается атмосфера открытости, незаконченности. К числу их отнесены глаголы, придающие высказываниям оттенок субъективности, имеющие значение "казаться", "думать", "походить" ( $\kappa\iota\nu\delta\upsilon\nu\epsilon\upsilon\epsilon\iota\nu$ ,  $\delta\omicron\kappa\epsilon\iota\nu$ ,  $\omicron\iota\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ ,  $\epsilon\omicron\iota\kappa\epsilon\nu\alpha\iota$ ), подчеркивающие частицы "же", "ведь" ( $\gamma\epsilon$ ,  $\delta\eta$ ).

Вспомним частые у Платона противопоставления Сократа другим участникам диалога (который, по мнению «монологистов», является чистой видимостью, где Сократ формально участвует в общении, слушая только себя и будучи, по сути, единственным, подавляющим других участников бесед «монополистом» истины), например, концовку знаменитого «Пира»: «Сократ же оставив их спящими, встал и ушел, а ... Придя в Ликей и умывшись, Сократ провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть» [9, с. 134]. Не говорит ли это о постоянной (несмотря на выпитое на «Симпозиуме» вино) духовной трезвости интеллектуального акушера ахейцев? Кроме того, характерный для раннего Платона простой и ясный стиль изложения, слог, не требующий комментария, частое название персонажей по имени и частое обращение их друг к другу с вопросом-вызовом «что скажешь?» предполагает стремление к единению, согласию ( $\omicron\omicron\omicron\omicron\omicron\omicron$ ), что вполне, скажут противники рабства, оправдывало "языковые игры" тогдашней "демократической" верхушки. Но, как бы там ни было, в кругу "своих", в теплой дружеской компании очень легко складывается особый язык для внутреннего употребления, который может быть глубоко серьезным — в меру глубины и серьезности породивших его интересов, но одновременно всегда не чужд игре, причуде, фантазии (помогающих его рождению как *нового* способа объясняться) [1, с. 74]. Э. Левинас, однако, считал, что истина неизбежно «связана с социальным отношением — со справедливостью. А справедливость — это признание привилегий другого и его господства, отношения к другому вне риторики, которая есть коварство, подчинение и эксплуатация» [5, с. 105]. Но не является ли попытка преодолеть риторику такой же риторичной, как и верленовский призыв «сломать риторику шею» во имя музыки?

Предпочтение строгой, категорично-исчерпывающей бытие средневековой схоластики и, к примеру, Гегелем, Аристотеля (не противоречащего «мифу» христианства) Платону (исключая, конечно же, в случае с немецким мыслителем, его диалектический метод) — характеризует отношение к любой открытой неоднозначности литературного дискурса, вытесненного вместе с риторикой на периферию (теологии и философии) к художественному творчеству, судебному разбирательству и религиозной проповеди. Тот же Гегель, правда, обмолвился, говоря о продуцировании своих категорий, о том, что если ему нужно будет помыслить немислимое, то он выкует немислимые категории, тем самым как бы соревнуясь с другими

мыслителями не только в искусстве мышления, но и в искусстве мыслить вымышленными словами.

Изображенный Платоном Сократ (да еще во время «отдыха» на войне), стоя на пронзительном холоде в непонятном для удивленных сограждан экстазе, являющим зрелище недоступного им бытия, демонстрирует (прямо или косвенно — другой, сложный вопрос), словно волшебное заклятие, некую силу, способную, по словам Витгенштейна «вызывать к существованию вещи более высокого порядка». Таким образом, подобно отрицанию античного (а именно аристотелевского) требования к настоящему полису, которому полагалось непременно быть обозримым с вершины его акрополя, история отрицает «единичного» Сократа как простой рупор платоновских идей или как раба, покорно исполняющего волю своего господина, и превращает его во что-то большее (не обязательно лучшее): в декадента и прахристианина для Ницше [8], испортившего великую Грецию своей неумной рефлексией и подлежащего поэтому «преодолению» (вспомним его (Ницше) своеобразный иронично-сострадательный призыв: «Сократ, возьми свою флейту!»), несправедливую, но необходимую для истории (в том случае для становления новой нравственности полиса) жертву (Гегель), а то и в символ самой философии вообще, каким Сократ был для Маркса, что, с разных точек зрения, знаменует то синтагматическое стремление развить субстанционалистское понятие «смысла Сократа», то парадигматическое понимание «склонения бытия» (Хайдеггер), именуемое событием (как Ereignis) и поэтому не нуждающегося более в воз-(или низ-) ведении его к чему бы то ни было еще помимо него самого (сравните пример истолкования произведения искусства в «Истоке художественного творения» М.Хайдеггера [10]).

**Выводы.** Таким образом, анализ интерпретаций текстов Платона показал важность риторической составляющей его диалогов. И здесь вновь возникает проблема связи философского и литературного дискурсов уже как антропологической задачи. В этом видится перспектива дальнейшего исследования.

#### Литература:

1. Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда// Новое в современной классической филологии.— М., 1979.— С. 41-81.
2. Гадамер Г.-Г. Философия и литература// Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного.— М., 1991.— С. 126-146.
3. Делез Ж. Платон и симулякр// Интенциональность и текстуральность: Философская мысль Франции XX века.— Томск, 1998.— С. 225-240.
4. Кант И. Критика чистого разума.— М.: Мысль, 1994.— 591 с.
5. Левинас Э. Избранное: Тотальность и Бесконечность / Э. Левинас. — М., СПб.: Университет. кн., 2000. — 416 с.
6. Лосев А. Античный космос и современная наука.— М., 1927.— 534 с.
7. Миллер Т.А. Об изучении художественной формы платоновских диалогов// Новое в современной классической филологии.— М., 1979.— С. 82-125.
8. Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствовать молотом// Ницше Ф. Сочинения в 2 т.— М., 1990.— С. 556-630.
9. Платон Пир// Собр. соч. в 4 т.— М., 1993.— Т. 2.— С.81-134.
10. Хайдеггер М. Введение в метафизику.— СПб.: Высш. религиоз.-филос. шк., 1998.— 301 с.